

Свадебные приготовления в деревне. Франц Кафка

Когда Эдуард Рабан, пройдя через подъезд, вошел в амбразуру двери, он увидел, что идет дождь. Дождь был маленький.

На тротуаре перед ним было много людей, шагавших вразнобой. Иногда кто-нибудь выступал вперед и пересекал мостовую. Девочка держала в вытянутых руках усталую собачку. Два господина что-то сообщали друг другу. Один держал руки ладонями вверх и согласованно двигал ими, словно покачивая какую-то тяжесть. Показалась дама, чья шляпа была обильно нагружена лентами, пряжками и цветами. Торопливо проследовал молодой человек с тонкой тростью, плашмя прижав к груди левую руку, словно она у него отнялась. То и дело проходили мужчины, которые курили и несли перед собой вертикальные продолговатые облачка. Три господина – двое из них с перекинутыми через руку легкими пальто – часто отходили от стен домов к краю тротуара, глядели на то, что делалось там, и затем, разговаривая, возвращались.

Сквозь просветы между проходимыми видны были ровно уложенные камни мостовой. Там лошади с вытянутыми шеями тянули коляски на тонких высоких колесах. Люди, откинувшиеся на мягких сиденьях, молча смотрели на пешеходов, на лавчонки, на балконы и на небо. Когда одна коляска обгоняла другую, лошади прижимались друг к дружке, и сбруя, повисая, болталась. Животные дергали дышло, коляска катилась, торопливо качаясь, пока не завершался объезд передней коляски и лошади не расступались опять, склоняя друг к другу узкие спокойные головы.

Некоторые быстро подходили к подъезду, останавливались на сухой мозаике, медленно поворачивались и смотрели на дождь, который сбивчиво лил, втиснутый в эту узкую улицу.

Рабан чувствовал себя усталым. Губы его были бледны, как выцветший красный цвет его толстого галстука с мавританским узором. Дама у каменного приступка напротив, смотревшая до сих пор на свои туфли, которые были хорошо видны под подобранной юбкой, смотрела теперь на него. Она делала это равнодушно, а кроме того, она, может быть, смотрела только на дождь перед ней или на маленькие вывески фирмы, укрепленные над его волосами. Рабану показалось, что она глядит удивленно. «Значит, – подумал он, – если бы я мог все рассказать ей, она совсем не удивлялась бы. Человек так надрывается на работе в конторе, что потом от усталости и каникулами не может насладиться как следует. Но никакая работа не дает человеку права требовать, чтобы все обращались с ним любовно, нет, он одинок, он для всех чужой, он только объект любопытства. И пока ты говоришь „человек“ вместо „я“, это пустяк, и эту историю можно рассказать, но как только ты признаешься себе, что это ты сам, тебя буквально пронзает и ты в ужасе».

Он поставил на землю обшитый клетчатым сукном чемодан, согнув при этом колени. Вода у края мостовой уже бежала ручьями, которые прямо-таки неслись к углублениям стоков. «Но если я сам делаю различие между „человек“ и „я“, вправе ли я сетовать на других. Несправедливыми их, наверно, нельзя назвать, но я слишком устал, чтобы все осознать. Я слишком устал даже для того, чтобы без усилия пройти на вокзал, а ведь он близко. Почему мне не остаться на эти маленькие каникулы в городе, чтобы отдохнуть? Я просто неразумен... От поездки я заболею, я же это знаю. Моя комната не будет достаточно удобна, в деревне по-другому не бывает. Да и сейчас только начало июня, сельский воздух еще часто очень прохладен. Одет я, правда, предусмотрительно, но мне же самому придется присоединяться к людям, которые гуляют поздно вечером. Там есть пруды, будут гулять вдоль прудов. И я наверняка простужусь. С другой стороны, в разговорах я очень-то выделяться не буду. Я не смогу сравнить этот пруд с другими прудами в какой-нибудь далекой стране, ибо я никуда не ездил, а говорить о луне, испытывать блаженство, мечтательно взбираться на кучи щебня – для этого я слишком стар, чтобы меня не высмеяли».

Люди проходили мимо с несколько опущенными головами, свободно неся над ними темные зонтики. Проехала мимо также ломовая повозка, на козлах которой, набитых соломой, возница так небрежно вытянул ноги, что одна почти касалась земли, а другая удобно покоилась на соломе и тряпье. Казалось, он сидит в хорошую погоду где-нибудь в поле. Но он внимательно держал вожжи, чтобы повозка, на которой разлезались железные прутья, ловко поворачивалась в толчее. Видно было, как в воде на земле извивается отражение прутьев, медленно скользя от одного ряда булыжника к другому. Маленький мальчик возле дамы напротив был одет как старый виноградарь. Его складчатый балахон спадал большим кругом и только чуть ли уже не под мышками был подобран кожаным ремешком. Его шапочка в форме полушария была надвинута до бровей, и от верхушки ее свисала к левому уху кисточка. Дождь радовал его. Он выскочил из подъезда и смотрел открытыми глазами на небо, чтобы ухватить себе побольше дождя. Он часто подпрыгивал, поднимая брызги, за что прохожие очень бранили его. Дама подозвала его к себе и взяла за руку, но он не заплакал.

Рабан вдруг испугался. Не поздно ли уже? Поскольку плащ и пиджак его были расстегнуты, он быстро достал часы. Они не шли. Он с досадой спросил соседа, стоявшего чуть глубже в подъезде, который час. Тот вел какую-то беседу, он сквозь смех, который относился к ней, сказал: «Извольте, начало пятого», – и отвернулся.

Рабан быстро раскрыл свой зонтик и взял чемодан. Но когда он уже выходил на улицу, дорогу ему преградили несколько торопившихся женщин, которых он и пропустил. При этом он глядел вниз на шляпу какой-то девочки, сплетенную из окрашенной в красный цвет соломки, с зеленым веночком на волнистых полях.

Это еще держалось в его памяти, когда он уже был на улице, которая слегка поднималась в том направлении, в каком он собирался пойти. Потом он забыл это, ибо должен был немного напрячься; чемоданчик был для него нелегок, а ветер дул прямо навстречу, развеивал плащ и продавливал спереди спицы зонтика.

Дышать ему стало тяжелее; часы на площади поблизости пробили четверть пятого, он видел из-под зонта легкие короткие шаги людей, шедших ему навстречу, скрежетали, когда их притормаживали, колеса повозок, крутились медленнее, лошади выпрямляли тонкие передние ноги, смело, как серны в горах.

Тут Рабану показалось, что он одолеет и это долгое скверное время следующих двух недель. Ведь это всего две недели, значит, какое-то ограниченное время, и даже если неприятности будут все прибывать, время, в течение которого их надо переносить, будет все-таки идти на убыль. От этого мужество несомненно возрастет. «Все, кто хочет мучить меня и кто сейчас занял все пространство вокруг меня, будут

постепенно оттеснены добрыми течением этих дней, для чего даже не требуется никакой моей помощи. И я могу, что естественным образом получится, быть слабым и тихим и позволять делать с собой что угодно, и все-таки все уладится просто благодаря течению дней.

А кроме того, нельзя ли мне поступить так, как я всегда поступал в детстве при всяких опасностях? Мне даже не нужно самому ехать в деревню, я пошлю туда тело. Если оно пошатывается, выходя за дверь моей комнаты, то это пошатыванье свидетельствует не о боязни чего-то, а об его, тела, ничтожестве. И это вовсе не волнение, если оно спотыкается на лестнице, если, рыдая, едет в деревню и, плача, ест там свой ужин. Ведь я-то, я-то лежу тем временем в своей постели, гладко укрытый желто-коричневым одеялом, под ветерком, продувающим комнату. Коляски и люди на улице нерешительно ездят и ходят по голой земле, ибо я еще вижу сны. Кучера и гуляющие робки и каждый свой шаг вперед вымаливают у меня взглядом. Я одобряю их, они не встречают препятствий.

У меня, когда я так лежу в постели, фигура какого-то большого жука, жука-оленья или майского жука, мне думается».

Перед витриной, где за мокрым стеклом висели на полочках маленькие мужские шляпы, он остановился и посмотрел на них, сложив дудочкой губы. «Ну, моей шляпой на каникулы можно еще обойтись, – подумал он и пошел дальше, – а если меня из-за моей шляпы никто не выносит, то тем лучше.

Большая фигура жука, да. Я делал тогда такой вид, словно речь шла о зимней спячке, и прижимал ножки к своему выпуклому туловищу. И я прошепчу несколько слов, это будут указания моему телу, которое у меня еле стоит на ногах и ссутулилось. Скоро я буду готов – оно поклонится, оно пойдет быстро и все наилучшим образом выполнит, а я полежу».

Он достиг отдельно стоящей арки с округлым сводом, выведившей на вершине этой крутой улицы на маленькую площадь, окруженную множеством уже освещенных магазинов. Посреди площади, несколько затемненный из-за света по бокам, стоял низкий памятник сидящему в задумчивости человеку. Люди двигались, как узкие щитки перед источниками света, и оттого, что лужи разливали весь этот блеск вширь и вглубь, вид площади непрестанно менялся.

Рабан довольно далеко продвинулся по площади, хотя и отпрядывал от мчащихся повозок, прыгал с одиночных сухих камней на другие сухие же и держал раскрытый зонтик в высоко поднятой руке, чтобы все вокруг видеть. Наконец он остановился возле фонарного столба – у остановки трамвая, на маленьком четырехугольном каменном подножии.

«Меня ведь ждут в деревне, не беспокоятся ли там уже? Но я всю неделю, что она в деревне, не писал ей, написал только сегодня утром. В конце концов, и мой внешний вид уже представляют себе иначе. Думают, может быть, что я бросаюсь на человека, когда с ним заговариваю, но у меня нет такой привычки, или что я, приехав куда-нибудь, лезу с объятьями, и этого я тоже не делаю. Я разозлю, ее, когда попытаюсь успокоить ее. Ах, если бы только мне удалось разозлить ее при попытке ее успокоить».

Тут мимо не быстро проехала скрытая коляска, за ее двумя горящими фонарями видны были две дамы, сидевшие на темных кожаных скамеечках. Одна из них откинулась назад, лицо ее было скрыто вуалью и тенью шляпы. А вторая дама сидела прямо; шляпа на ней была маленькая, отороченная тонкими перьями. Эту даму мог видеть каждый. Нижняя губа была у нее немного втянута в рот.

Как только коляска проехала мимо Рабана, какой-то столб заслонил правую пристяжную этого экипажа, затем какой-то кучер – на нем был большой цилиндр – возник на необычно высоком облучке перед дамами, – это случилось уже гораздо дальше, – затем их коляска сама повернула за угол небольшого дома, который теперь бросился в глаза, и скрылась из поля зрения.

Рабан смотрел ей вслед, склонив голову, он положил палку зонтика на плечо, чтобы лучше видеть. Большой палец правой руки он засунул в рот и тер им зубы. Его чемодан лежал рядом с ним плашмя на земле.,

Коляски спешили от улицы к улице через площадь, тела лошадей летели горизонтально, как снаряды, покачивания голов и шей выдавали порыв и труд движения.

Кругом по краям тротуаров всех трех сходящихся здесь улиц стояли во множестве бездельники, постукивая тросточками по мостовой. Между этими группами стоявших были башенки, в которых девушки торговали лимонадом, затем тяжелые уличные часы на тонких столбах, затем мужчины с большими плакатами на груди и спине, которые разноцветными буквами оповещали о развлечениях, затем посыльные...

### *Две страницы пропали*

...маленькая компания. Две барские коляски, проехавшие через площадь в спускавшуюся под гору улицу, задержали нескольких мужчин из этой компании, но за второй коляской – они уже после первой опасно сделали такую попытку – мужчины эти снова соединились в одну толпу с другими, вместе с которыми затем длинной шеренгой ступили на тротуар и протиснулись в двери кофейни, облитые огнями висевших над входом электрических лампочек.

Трамвайные вагоны громадинами проезжали мимо, вблизи другие неразличимо останавливались в дальних улицах.

«Как она горбится, – думал Рабан, глядя на эту картину, – никогда она, в сущности, не держится прямо, и, может быть, спина у нее круглая. Мне придется часто замечать это. И рот у нее очень широкий, и нижняя губа несомненно выпячена, да, сейчас я вспоминаю и это. А платье? Конечно, я ничего не смыслю в платьях, но эти рукава в обтяжку безусловно уродливы, у них вид повязки. А шляпа, поля которой в каждом месте по-разному загibaются вверх над лицом! Но глаза у нее красивые, они карие, если не ошибаюсь. Все говорят, что у нее красивые глаза».

Когда перед Рабаном остановился трамвай, к подножке вагона хлынули со всех сторон люди с прикрытыми зонтиками, которые они держали стоймя в прижатых к плечам руках. Рабана, сжимавшего чемодан под мышкой, стянули с тротуара, и он глубоко вступил в невидимую лужу. В вагоне на скамейке стоял на коленях ребенок и прижимал кончики пальцев обеих рук к губам, словно прощался с кем-

то, кто сейчас сошел и должен были пройти несколько шагов вдоль вагона, чтобы выбраться из толчеи. Затем одна дама поднялась на первую ступеньку, ее шлейф, который она придерживала обеими руками, обвил ей ноги. Какой-то господин держался за медный поручень и, подняв голову, что-то говорил этой даме. Все, кто хотел войти в вагон, проявляли нетерпение. Кондуктор кричал.

Рабан, который стоял теперь у края ожидавшей группы, обернулся, ибо кто-то выкликнул его имя.

– Ах, Лемент, – сказал он медленно и подал подошедшему молодому человеку мизинец руки, в которой держал зонтик.

– Вот он, значит, жених, едущий к невесте. У него ужасно влюбленный вид, – сказал Лемент и улыбнулся затем с закрытым ртом.

– Да, прости, что я еду сегодня, – сказал Рабан. – Я написал тебе во второй половине дня. Я бы, конечно, с большим удовольствием поехал бы с тобой завтра, но завтра суббота, все будет переполнено, а ехать долго.

– Ничего. Ты, правда, обещал, но когда влюбишься... Ну, так поеду один. – Лемент стоял одной ногой на тротуаре, другой – на мостовой и опирался то на одну ногу, то на другую. – Ты хотел сейчас сесть в трамвай; он как раз трогается. Давай пойдем пешком, я провожу тебя. Времени еще достаточно.

– Не поздно ли уже, право?

– Не диво, что ты педантичен, но у тебя действительно есть еще время. Я не так педантичен, поэтому я сейчас и разминусь с Гиллеманом.

– С Гиллеманом? Он тоже будет жить за городом?

– Да, с женой, они хотят выехать на следующей неделе, поэтому-то я и обещал Гиллеману встретить его сегодня, когда он пойдет со службы. Он хотел дать мне кое-какие указания насчет устройства их квартиры, поэтому я должен был его встретить. А я как-то запоздал, у меня были дела. И как раз когда я подумал, не сходить ли мне к ним на квартиру, я увидел тебя, удивился сперва чемодану и окликнул тебя. Но сейчас уже слишком поздний час для визитов, заходить к Гиллеману не очень удобно.

– Конечно. Значит, у меня все-таки будут знакомые за городом. Госпожу Гиллеман, кстати сказать, я никогда не видел.

– А она очень хороша. Она блондинка и сейчас, после болезни, бледна. У нее самые красивые глаза, которые я когда-либо видел.

– Помилуй, как выглядят красивые глаза? Это взгляд? Я никогда не находил глаза красивыми.

– Ладно, я, может быть, немного преувеличил. Но она красивая женщина.

Через стекло кофейни на первом этаже видно было, как читали и ели мужчины, сидевшие у самого окна за треугольным столом; один, опустив газету на стол, высоко держал чашечку, он искоса поглядывал на улицу. За этим столом у окна вся мебель и утварь в большом зале кофейни была заслонена гостями, которые плотно сидели маленькими кружками.

*Две страницы пропали.*

...-Случайно, однако, это дело оказалось не таким уж неприятным, не так ли? Многие взяли бы на себя этот груз, хочу я сказать.

Они вышли на довольно темную площадь, которая на их стороне улицы начиналась раньше, ибо противоположная сторона высилась дальше. На той стороне площади, вдоль которой они шли, стояла непрерывная шеренга домов, от ее углов два сперва далеких друг от друга ряда домов уходили в неразличимую даль, где, по-видимому, соединялись. Тротуар у домов, в большинстве своем маленьких, был узок, лавок не было видно, экипажи здесь не ездили. Железный столб в конце улицы, из которой они вышли, поддерживал несколько фонарей в виде двух колец, далеко висевших одно над другим. Пламя в форме трапеции горело между стеклышками, скрепленными под башнеподобной широкой тьмой, как в комнатке, и не уничтожало темноты в нескольких шагах от себя.

– Ну, теперь-то уж наверняка слишком поздно, ты скрыл это от меня, и я опоздал на поезд. Почему?

*Четыре страницы пропали.*

... – да, разве что Пиркерсгофера, ну, а он...

– Эта фамилия встречается, по-моему, в письмах Бетти, он путеец, не так ли?

– Да, путеец и неприятный человек. Ты признаешь, что я прав, как только увидишь этот толстый носик. Да, скажу тебе, ходить с ним по скучным полям... Впрочем, его уже перевели, и на следующей неделе он, думаю и надеюсь, уедет оттуда.

– Погоди, ты прежде сказал, что советуешь мне остаться на сегодняшнюю ночь здесь. Я обдумал это, так нельзя. Я же написал, что приеду сегодня вечером, они будут ждать меня.

– Это же просто, пошли телеграмму.

– Да, можно... но это было бы некрасиво, если бы я не поехал... К тому же я устал, я уж поеду... если придет телеграмма, они еще испугаются... Да и зачем это, да и куда бы мы пошли?

– Тогда действительно лучше тебе поехать. Я просто подумал... Да и не могу я сегодня пойти с тобой, потому что не выспался, я забыл

тебе это сказать. Я попрошусь, я стану провожать тебя через мокрый парк, потому что хочу еще заглянуть к Гиллеманам. Без четверти шесть, еще можно ведь зайти к добрым знакомым. Addio. Итак, счастливого пути и всем привет!

Лемент повернул направо и подал на прощанье правую руку, отчего один миг шел против своей вытянутой руки.

– Adieu, – сказал Рабан. Уже издали Лемент крикнул:

– Эй, Эдуард, слышишь, закрой зонтик, дождь давно перестал. Я не успел сказать тебе это.

Рабан не ответил, он сложил зонтик, и небо, бледно потемнев, сомкнулось над ним.

«Если бы я хотя бы, – думал Рабан, – сел не в тот поезд. Тогда бы мне все-таки показалось, что это предприятие уже началось, а когда я позднее, после выяснения ошибки, вернулся бы снова на эту станцию, мне было бы уже гораздо покойнее. Если же местность там, как говорит Лемент, скучная, то это вовсе не недостаток. Больше будешь сидеть в комнатах, никогда, в сущности, точно не зная, где все другие, ведь если есть какие-то руины в окрестности, то, конечно, совершается совместная прогулка к этим руинам, о которой наверняка договариваются заблаговременно. Но тогда нужно заранее радоваться ей, поэтому ее нельзя пропустить. А если таких достопримечательностей нет, то наперед ни о чем и не договариваются, ожидая, что все быстро соберутся, когда вдруг, вопреки обыкновению, затеют какую-нибудь прогулку; ибо достаточно послать служанку к другим на квартиру, где те сидят за письмом или за книгами и придут в восторг от такого известия. Ну, от таких приглашений защититься нетрудно. И все же не знаю, сумел ли бы я, ибо это не так легко, как мне представляется, пока я один и еще могу делать все, еще могу вернуться назад, когда захочу, ибо там у меня не будет никого, кого бы я мог навещать, когда захочу, и никого, с кем я мог бы совершать трудные прогулки; кто показал бы мне свои хлеба на корню или каменный карьер, которым он там владеет. Ведь даже в старых знакомых нельзя быть уверенным. Разве не добр был ко мне Лемент сегодня, он ведь мне кое-что объяснил, он все изобразил так, как это предстанет мне. Он заговорил со мной и проводил меня, хотя ничего не хотел узнать от меня и его самого ждало еще другое дело. А теперь он внезапно ушел, но я никак, ни одним словом, не мог задеть его самолюбие, я, правда, отказался провести вечер в городе, но это же было естественно, это не могло обидеть его, ведь он человек разумный».

Вокзальные часы пробили три четверти шестого. Рабан остановился, почувствовав сердцебиение, затем быстро пошел вдоль паркового пруда, вышел на узкую, плохо освещенную дорожку между большими кустами, ринулся на площадку, где стояло, прислонясь к деревьям, много пустых скамеек, затем медленно выбежал через отверстие в ограде на улицу, пересек ее, метнулся в вокзальную дверь, нашел через несколько мгновений окошко и вынужден был постучать в жестяную заслонку. В окошко выглянул служащий, сказал, что уже давно пора, взял кредитку и громко бросил на дощечку потребованный билет и мелочь. Рабан хотел быстро пересчитать ее, полагая, что должен был получить больше сдачи, но служитель, прохаживавшийся поблизости, погнав его через стеклянную дверь на перрон. Там Рабан огляделся, крича служителю: «Спасибо, спасибо», и, поскольку кондуктора не нашел, самостоятельно поднялся на ближайшую вагонную подножку, ставя сначала на каждую верхнюю ступеньку чемодан и опираясь одной рукой на его ручку, а другой на ручку зонтика. Вагон, в который он вошел, был ярко освещен обильным светом крытого перрона; за многими окнами – все были закрыты доверху – видны были висевшие поблизости шипящие дуговые лампы, и частые дождевые капли на оконном стекле были белые, иные из них двигались. Рабан слышал перронный шум и тогда, когда закрыл дверь вагона и сел на последний свободный остаток светло-коричневой деревянной скамьи. Он видел много спин и затылков, а между ними запрокинутые лица на противоположной скамье. Кое-где вился дым от трубок и сигар, а в одном месте он вяло тянулся мимо лица какой-то девушки. Часто пассажиры пересаживались и обсуждали друг с другом эту перемену или перекладывали свои вещи, лежавшие в узкой синей сетке над скамейкой, в другую сетку. Если выпирали вперед палка или окованный угол чемодана, на это обращали внимание их хозяина. Он поднимался и восстанавливал порядок. Рабан тоже опомнился и задвинул свой чемодан под свое сиденье.

Слева от него у окна сидели напротив друг друга два господина и говорили о ценах на товары. «Это коммивояжеры, – подумал Рабан и стал смотреть на них, ровно дыша. – Купец посылает их в деревню, они повинуются, они едут на поезде и в каждой деревне ходят отлавки к лавке. Иногда они разъезжают между деревнями в коляске. Надолго они нигде не задерживаются, ибо все нужно делать быстро, и они всегда должны говорить только о товарах. С какой же радостью можно отдаваться работе, которая так приятна!»

Младший рывком вынул записную книжку из заднего кармана штанов, полистал ее указательным пальцем, быстро увлажнив его языком, и затем прочел страницу, проводя по ней вниз тылом ногтя. Подняв глаза, он посмотрел на Рабана и, говоря теперь о ценах на пряжу, уже не отворачивал лица от него – так останавливают взгляд на чем-нибудь, чтобы не забыть ничего из того, что хотели сказать. Полузакрытую книжечку он держал в левой руке, заложив ее на прочитанной странице большим пальцем, чтобы легче было заглянуть в нее, если понадобится. Книжка дрожала, ибо этой рукой он ни на что не опирался, а вагон на ходу ударял по рельсам как молоток.

Другой коммивояжер, откинувшись назад, слушал и равномерно кивал головой. Видно было, что он согласен отнюдь не со всем и позднее выскажет свое мнение.

Рабан положил на колени сложенные горстями ладони и, наклонившись вперед, видел между головами вояжеров окно, а в окно огни, пролетавшие мимо, и другие, улетавшие назад вдаль. Речи вояжера он совершенно не понимал, не поймет он и того, что ответит другой. Тут нужна большая подготовка, ибо это люди, которые занимаются товарами с юных лет. А если ты не раз уже держал в руке шпульку с пряжей и не раз уже передавал ее покупателям, то ты знаешь ей цену и можешь говорить об этом, когда деревни бегут нам навстречу и мчатся мимо, когда они в то же время опрокидываются в глубину местности, где им суждено исчезнуть для нас. Однако же эти деревни населены, и, может быть, вояжеры ходят там от лавки к лавке.

Перед углом вагона в другом конце встал рослый мужчина, державший в руке игральные карты, и крикнул:

– Эй, Мария, а зефирные рубашки ты запаковала?

– Как же, – сказала женщина, сидевшая напротив Раба-на. Она задремала и, когда теперь этот вопрос разбудил ее, ответила себе под нос, словно говоря это Рабану.

– Вы едете на рынок в Юнгбунцлау, не так ли? – спросил ее энергичный вояжер.

– Да, в Юнгбунцлау.

– Там сегодня будет большой рынок, не правда ли?

– Да, большой рынок.

Она была сонная, она опиралась левым локтем на синий узел, и голова ее тяжело лежала на ладони, которая вдавилась в мясо щеки до самой скулы.

– Как она молода, – сказал вояжер.

Рабан вынул из жилетного кармана деньги, полученные им у кассира, и пересчитал их. Он долго держал каждую монету стоймя между большим и указательным пальцами и еще вертел ее кончиком указательного на внутренней стороне большого туда и сюда. Он долго рассматривал изображение императора, потом обратил внимание на лавровый венок и на то, как он был укреплен на затылке ленточными узлами и бантами. Наконец он нашел, что сумма верна, и положил деньги в большой черный кошелек. Но когда ему затем захотелось сказать вояжеру: «Это супружеская пара, вы не думаете?» – поезд остановился. Шум движения прекратился, кондукторы стали выкрикивать название какого-то пункта, и Рабан ничего не сказал.

Поезд ехал так медленно, что можно было представить себе вращение колес, но вдруг он помчался по склону, и внезапно за окнами длинные прутья перил моста стали разбегаться врозь и снова сбегаться – так казалось.

Рабану понравилось теперь, что поезд так спешит, ибо он не хотел бы остаться на последней станции. «Если там темно, если никого там не знаешь, если так далеко до дома. Тогда там, наверно, и днем страшно. А иначе ли на следующей станции, или на прежней, или на более поздней, или в деревне, куда я еду?»

Коммивояжер вдруг заговорил громче. «Еще ведь далеко», – подумал Рабан.

– Сударь, вы же знаете это не хуже моего, эти фабриканты посылают своих людей в самые глухие углы, они добираются до паршивых лавочников, и думаете, они назначают им другие цены, чем нам, оптовикам? Сударь, позвольте сказать вам это, совершенно такие же цены, не далее как вчера я видел собственными глазами. По-моему, это подлость. Нас душат, при нынешних обстоятельствах нам просто вообще невозможно делать дела, нас душат.

Он снова взглянул на Рабана. Он стыдился слез, стоявших в его глазах; он прижал ко рту суставы пальцев левой руки, потому что его губы дрожали. Рабан откинулся назад и левой рукой тихонько подергал свои усы.

Торговка напротив проснулась и, улыбаясь, погладила себе лоб обеими руками. Коммивояжер говорил тише. Женщина еще раз приняла удобную для сна позу, она прикорнула на своем узле и вздохнула. На ее правом бедре натянулась юбка. За ней сидел господин в кепи и читал большую газету. Девушка напротив него, вероятно, его родственница, попросила его и склонила при этом голову к правому плечу – открыть окно, ибо ей было очень жарко. Он сказал, не подняв глаз, что сейчас это сделает, только сначала дочитает какой-то раздел в газете, и показал ей, какой раздел он имеет в виду.

Торговка не смогла больше уснуть, она выпрямилась и поглядела в окно, потом долго смотрела на керосиновое пламя, желтевшее у потолка вагона. Рабан на минуту закрыл глаза.

Когда он открыл их, торговка как раз надкусывала покрытое коричневым мармеладом пирожное. Узел рядом с ней был развязан.

Коммивояжер молча курил сигару и все время делал вид, что стряхивает с ее кончика пепел. Другой копался острием ножа в механизме карманных часов, это было слышно.

Почти закрытыми глазами Рабан смутно увидел еще, как господин в кепи потянул за оконный ремень. Ворвался прохладный воздух, чья-то соломенная шляпа слетела с крючка. Рабан подумал, что он просыпается и потому его щеки так освежились, или что открывают дверь и тащат его в комнату, или что он как-то ошибается, и быстро уснул, глубоко дыша.

Подножка еще немного дрожала, когда Рабан теперь сходил с нее. В его лицо, вышедшее из вагонного воздуха, толкнулся дождь, и он закрыл глаза... На жестяной навес перед зданием станции дождь лил шумно, а на окрестный простор лишь так, что казалось, будто слышишь ровно дующий ветер. Подбежал босоногий мальчишка – Рабан не заметил откуда – и, запыхавшись, попросил позволить ему понести чемодан, потому что идет дождь. Но Рабан сказал: да, идет дождь, поэтому он поедет на омнибусе. В его услугах он не нуждается. В ответ мальчишка сделал такую гримасу, словно считал, что под дождем идти пешком, поручив чемодан носильщику, благородней, чем ехать, тотчас повернулся и убежал. Когда Рабан захотел позвать его, было уже поздно.

Видны были два горевших фонаря, и станционный служащий вышел из двери. Он, не мешкая, прошел под дождем к паровозу, стал там скрестив руки и подождал, пока машинист не наклонился над своим ограждением и не поговорил с ним. Позвали служителя, тотявился и был отослан назад. У многих окон поезда стояли пассажиры, и, поскольку смотреть им приходилось на обыкновенное станционное здание, взгляд их, наверно, был хмур, веки сжимались, как во время езды. Девушка, торопливо пришедшая на перрон с проселка под цветастым зонтиком от солнца, поставила раскрытый зонтик на землю, села и, разжав ноги, чтобы ее юбка скорее высохла, стала поглаживать кончиками пальцев натянувшуюся юбку. Горели только два фонаря, ее лицо нельзя было разглядеть. Служитель, который проходил мимо, выразил свое недовольство тем, что под зонтиком образуются лужи, он округлил перед собой руки, чтобы показать величину этих луж, а затем стал ладонями, то одной, то другой, грести воздух, как рыба, уходящая в глубину, чтобы разъяснить, что и движению этот зонтик мешает.

Поезд тронулся, исчез, как длинная раздвижная дверь, и за тополями по ту сторону рельсов открылась такая громада местности, что дух захватывало. Был ли то темный просвет, или то был лес, был ли это пруд или дом, где люди уже спали, была ли то колокольня или овраг между холмами – никто не осмелился бы туда сунуться, но кто бы смог удержаться?..

И когда Рабан еще раз увидел служащего – тот был уже перед ступенькой своей конторы, – он забежал вперед и задержал его:

– Простите, пожалуйста, далеко ли до деревни, мне нужно туда.

– Нет, четверть часа, но на омнибусе... дождь ведь идет – вы доедете туда за пять минут. Пожалуйста.

– Дождь идет. Неважная весна, – сказал в ответ Рабан. Чиновник положил правую руку на бедро, и сквозь треугольник, возникший между его рукой и туловищем, Рабан увидел девушку на скамейке, уже закрывшую зонтик.

– Если поедешь теперь в дачное место, чтобы остаться там, то пожалеешь. Собственно, я полагал, что меня встретят. Он посмотрел вокруг, чтобы придать этому достоверность.

– Вы опоздаете на омнибус, боюсь я. Он ждет недолго. Не за что благодарить... Пройдите вон там между изгородями.

Улица перед вокзалом не была освещена, только из трех окон первого этажа вокзального здания шел мутный свет, но доставал он недалеко. Рабан шел на цыпочках по грязи и кричал «Кучер!», и «Эй!», и «Омнибус!», и «Я здесь!» множество раз. Но, угодив в почти непрерывные лужи на темной улице, он шагал, опираясь уже на всю ступню, пока вдруг его лба не коснулась мокрая лошадиная морда.

Это был омнибус, он быстро поднялся в пустую клетушку, сел у застекленного окошка за козлами и уткнулся спиной в угол, ибо сделал все, что нужно было. Ведь если кучер спит, то к утру он проснется, а если он умер, то придет новый кучер или хозяин, а если и этого не произойдет, то с ранним поездом придут пассажиры, люди спешащие, которые поднимут шум. Во всяком случае, можно успокоиться, можно даже задернуть занавески перед окошками и ждать толчка, с которым эта повозка тронется.

«Да, после всего, что я уже предпринял, несомненно, что завтра я приеду к Бетти, к маме, этому никто не может помешать. Верно, однако, и это можно было предвидеть, что мое письмо придет лишь завтра, и значит, я вполне мог бы остаться в городе и провести у Эльви приятную ночь, не страшась работы следующего дня, мысль о которой обычно портит мне всякое удовольствие. Однако же я промочил ноги».

Он зажег огарок свечи, достав его из жилетного кармана и поставив на скамейку напротив. Стало достаточно светло, из-за темени снаружи в черных стенках омнибуса не было видно окон. Не думалось ни о том, что под полом – колеса, ни о том, что впереди – впряженная лошадь.

Рабан основательно растер себе ноги на скамье, надел теплые носки и сел прямо. Тут он услышал, что со стороны вокзала кто-то кричит: «Эй! Если в омнибусе есть пассажир, то пусть объявится».

– Да, да, и он хочет уже поехать, – отвечал Рабан, высунувшись из открытой двери, держась правой рукой за косяк, а левую раскрыв около рта.

Дождь хлынул ему за воротник.

Закутанный в парусину двух разрезанных мешков, пришел кучер, отсвет его переносного фонаря прыгал по лужам под ним. Угрюмо начал он свое объяснение: он, понимаешь, играл с Лебедой в карты, они только вошли в азарт, как пришел поезд. Тут уж ему никак невозможно было выглянуть, но тех, кому этого не понять, он ругать не хочет. А вообще здесь дыра дырой, и непонятно, что может здесь делать такой господин, и на месте он будет все равно достаточно скоро, так что жаловаться нечего. Только сейчас вошел господин Пиркерсгофер-это, извините, господин адъютант – и сказал, что, кажется, какой-то блондинчик хочет поехать на омнибусе. Ну, тут он, кучер, тотчас и справился, или, может быть, он не справился тотчас же?

Фонарь был укреплен на конце оглобли, лошадь после глухого понукания тронула с места, и взболтанная на крыше омнибуса вода

медленно закапала теперь через щель в фургон.

Дорога могла быть гористой, грязь наверняка обдавала спицы, веера воды с шумом расходились сзади за вертящимися колесами, почти не натягивая поводья, управлял кучер вымокшей лошадью... Разве нельзя было все это использовать для упреков Рабану? Лужи неожиданно освещал дрожавший на оглобле фонарь, и они, нагоняя волны, растекались под колесом. Все это происходило только потому, что Рабан ехал к своей невесте, к Бетти, старообразной красивой девушке. И кто оценит, если уж говорить об этом, какие тут у Рабана заслуги, даже если они состояли лишь в том, что он сносил эти упреки, которых, правда, открыто ему никто не мог сделать. Конечно, он сносил их с радостью, Бетти была его невеста, он любил ее, было бы отвратительно, если бы она благодарила его и за это, но все же.

Не раз он нечаянно ударялся головой о стенку, к которой приник, тогда он на несколько мгновений поднимал глаза к потолку. Однажды правая его рука соскользнула с бедра, на котором лежала. Но локоть остался в углу между животом и ногой.

Омнибус ехал уже между домами, то и дело внутрь повозки проникал свет из какой-нибудь комнаты, какая-то лестница – чтобы увидеть первые ее ступеньки, Рабану пришлось бы встать-вела к церкви, перед воротами парка горело большое пламя фонаря, но статуя какого-то святого проступала лишь черным пятном сквозь свет мелочной лавки, теперь Рабан увидел свою догоревшую свечу, накапавший воск которой неподвижно свисал со скамьи.

Когда повозка остановилась перед гостиницей, когда хорошо слышны стали дождь и – наверно, было открыто окно – голоса гостей, Рабан подумал, что лучше – сразу же выйти или подождать, чтобы хозяин вышел к омнибусу. Как принято в этом городке, он не знал, но Бетти несомненно говорила уже о своем женихе, и после его роскошного или бледного появления ее авторитет здесь возрастет или уменьшится, а тем самым и его собственный. Однако он не знал ни того, каким авторитетом пользуется она теперь, ни-тем неприятнее и тяжелее – что разгласила она о нем. Прекрасен город и прекрасен путь домой! Если там идет дождь, то едешь на трамвае по мокрым камням домой, а здесь на телеге по грязи в трактир... «Город далеко отсюда, и если бы я сейчас умирал от тоски по дому, никто не смог бы доставить меня сегодня туда... Ну, пусть не умер бы... но там у меня будет на столе блюдо, которое ожидалось в этот вечер, справа за тарелкой – газета, слева – лампа, а здесь мне подадут какую-нибудь жуткую жирную еду – не знают, что у меня слабый желудок, да и если бы знали... – незнакомую газету, множество людей, которых я уже слышу, будет при этом присутствовать, и лампа будет гореть для всех. Какой это может дать свет, для игры в карты достаточный, но для чтения газеты?..

Хозяин не идет, плевать ему на гостей, он, наверно, человек нелюбезный. Или он знает, что я жених Бетти, и это дает ему основание не заботиться обо мне? Не потому ли и кучер заставил меня так долго ждать на вокзале? Бетти ведь часто рассказывала, как ей случалось страдать из-за похотливых мужчин и как приходилось отвергать их домогательства, может быть, и сейчас так...»